К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ФИННОВ И РУССКИХ [1]

М. Т. Маркелов (Москва)

I. Вопрос о культурных взаимоотношениях финнов и русских необходимо отнести к числу проблем, неоднократно и с давних пор дебатировавшихся как в русской историографии, так и в русской диалектологии, антропологии и в ряде других областей научного знания.

Многочисленная литература по этому вопросу дает возможность исследователю проследить не только процесс накопления фактов и научных доказательств по существу самого вопроса, но и эволюцию исходных моментов и побуждений в интересе исследователей к поставленной проблеме. Если русский патриотизм Н. Полевого [2] заставлял его в свое время «великороссийски» восклицать: «Могут ли быть (финны) почтены народом, входящим в состав гражданского нашего общества?» и если через шестьдесят лет «неопатриотизм» А. И. Соболевского, будучи не в состоянии отвергнуть наличия многих фактов, вынуждает исследователя говорить о массовом обрусении финнов в недрах великорусской народности, [3] то научные изыскания в этой области в наше время коренным образом модифицируют самую постановку вопроса. Исследователь нашей эпохи уже поставил вопрос о необходимости разрешения этой проблемы для уяснения генезиса не только русской, но и финской культуры, видя в последней не только компонент, слагающий вместе с другими русскую культуру, но и нечто такое, что само требует разложения на элементы. «Из того, что подмечено уже в области русско-финских взаимоотношений,—говорит один исследователь,—не теоретически-априорно, а конкретно, на основе материала видно, какое большое значение для истории и русского и финских народов имеет решение поставленных вопросов». [4]

---

[1] По поводу статьи Д. К. Зеленина, Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности. Напечатано в сборнике Лоикфун — ч. I, 1929 г.

[2] История русского народа. Т. I, М., 1830 г.

[3] К вопросу о финском влиянии на великорусское племя. Жив. стар. 1893 г., в. I.

[4] П. Любомиров. О важности изучения Мордвы. Сар. этногр. сборник. Вып. I, 1922 г., стр. 245.

Именно, в признании качественной равноценности так называемых высоких и низких культур и заключается то новое, что дает нам современная наука.

II. Статья Д. К. Зеленина в этом отношении представляет для исследователя двойной интерес,—как сводка отдельных точек зрения по этому вопросу почти за целое столетие — она обращает на себя внимание методологически, как попытка найти пути для исчерпывающего ответа в вопросах взаимоотношений финнов и русских: как работа крупного исследователя по русской этнографии, вооруженного огромным фактическим материалом для ответа на вопрос, — статья интригует не меньше.

В этих двух разрезах и попытаемся поделиться своими сомнениями по поводу статьи Д. К. Зеленина.

Прежде всего отметим некоторые неясности в постановке вопроса. Статья носит названье: «Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности?» Неясно — какое участие финнов в образовании великорусской народности имеет в виду автор? Известно, что финны были знакомы русским еще задолго до образования Московского княжества. Русские знали финнов еще будучи на среднем Днепре (X, XI в.). Исторические данные, хотя бы известия Иорнанда, вполне дают возможность исследователю допустить, что некоторые финские племена (мордва, напр.) еще раньше и территориально и культурно могли начать междуэтнические отношения хотя бы в эпоху черноморского готского владычества. Отсюда — вопрос — учитывает ли автор участие финнов в формировании восточнославянской культуры вообще, или же перед ним задача отыскать финские черты именно в великорусской народности. Судя по контексту (на стр. 107) Д. К. Зеленин вообще считает, что: «сравнение быта северно-великоруссов с южно-великоруссами, белоруссами и украинцами убеждает этнографа, что отличительные особенности северно-великорусской культуры являются простым развитием общевосточнославянской культуры применительно к северной природе. Очевидно, что и вопрос о взаимоотношениях «великоруссов и финнов» также можно несколько опустить в глубь веков, в эпоху этой самой «общевосточнославянской культуры», тем более, что для этого имеются все исторические основания. Если же автор взялся говорить исключительно об эпохе формирования великорусского государства, то необходимо было точно определить, какого характера «участие финнов» имеет он в виду. Если же формирование великорусской культуры началось еще в «общевосточнославянскую» эпоху, то почему же не начать и историю взаимоотношений финнов и русских гораздо раньше.

Не более ясен в построении Зеленина и второй вопрос. Что разумеет автор под «великорусской народностью»? С точки зрения Н. Полевого — это величина совершенно определенная; ясно, что понимают под «великорусской» народностью Соболевский, а также и вся домарксистская русская историография.

Ведь Д. К. Зеленин, как этнограф, не только в данной статье, но и во всех своих работах, лишь дифференцируя понятие «великороссы» на северно-русских окальщиков и южно-русских акальщиков, — наполняет его содержанием. Больше того, русскому этнографу совершенно точно известно, что подобная дифференциация нуждается опять-таки для точного определения понятия «русская» или «великорусская» народность в дальнейшем делении и северно-русских и южно-русских на более узкие географические зоны, сильно отличающиеся друг от друга. Отсюда совершенно ясно, что требуется сугубая осторожность, чтобы отыскать общие культурные признаки для всех этих групп. В самом деле, что же тогда объединяет их и каковы эти общие компоненты, слагающие «великорусскую» народность? Можно ли этим формирующим началом считать, например, русский литературный язык или признак государственного объединения — в данном случае Московское государство? Ведь сам же автор считает, что «отличительные особенности северновеликорусской культуры, например, является простым развитием общевосточнославянской культуры применительно к северной природе». О каких же специфических «великорусских» признаках можно тогда говорить применительно к «образованию великорусской народности?»

Думается, что современный этнограф, отрешившись от традиций нашей патриотической отечественной историографии, должен признать, что нет историко-культурного содержания в понятии «великорусская» народность или нация. В этом смысле Д. К. Зеленин пожалуй прав. Конечно, финны не принимали участия в сложении государственных и правовых признаков, оформляющих понятие «великорусс», но, очевидно, автор хотел сказать не то.

Исходя из предыдущего, автор допускает и вторую крупную методологическую ошибку как в постановке, так и разрешении вопроса. Зеленин, исходя из традиций русских историков, силится во что бы то ни стало доказать положение, что если бы финны принимали участие в образовании великорусской народности, то они должны были бы настолько подвергнуться руссификации, что потеряли бы свои национально-племенные признаки. Д. К. насчитывает и доселе более 17 финских племен, пребывающих в добром здравии, а отсюда формально-логическое salto mortale—финны не принимали участия в формировании «великорусской народности».

Но позволительно спросить у автора — по какой логике тогда некая группа поволжских финнов стала впоследствии чувашами (Д. К. Зеленин на 102 стр. своей статьи считает чуваш в своей основе финнами), если финны доселе сохранили даже в Поволжьи свою самобытность? Не будет же в отрицание себе проф. Зеленин опровергать роль финнов в образовании современной чувашской народности? Как видно из статьи, не отрицает же Зеленин этого и по отношению к башкирам, мишарям и т. д. На каком же основании можно тогда, подобно автору (стр. 107), говорить о роли греков в формировании великорусского костюма, когда потомки великих греков

живы и поныне. Остается у автора одно положение: «на 50 миллионов великоруссов потребовалось бы такое же количество обрусевших финнов», чтобы переродить великорусскую народность! Совершенно очевидно, что доказательство «от миллионов» по целому ряду оснований в опровержении не нуждается. На стр. 108 Д. К. совершенно отчетливо говорит о том, что речь идет не о физическом участии финнов в сложении великорусской народности, ибо «что касается антропологии, то она не сказала еще по нашему вопросу последнего слова». Поэтому совершенно очевидно, что автор намерен говорить о таком участии, в силу которого многовековые культурные взаимоотношения финнов и русских наложили свой отпечаток на культуре русских, так же как и обратно. Только о такой форме и таком содержании этого участия единственно и возможно говорить современному исследователю русско-финской проблемы. Если же это так, то автор далеко не прав в своем утверждении, что финны не участвовали в формировании культурного багажа русских. Постараемся это доказать прежде всего с точки зрения самого Зеленина.

III. Мы не будем говорить о «неводе» — этом единственно «крупном» факте заимствования, с точки зрения Д. К. Зеленина, в русском языке из финского (стр. 107). В этом отношении достаточно, сослаться на работы таких исследователей как проф. Калима (Kalima), а в прошлом проф. Веске[1] чтобы до бесконечности увеличить примеры древних и новых заимствований из финского. Прежде всего используем материалы самого автора.

На стр. 106 автор, говоря о топонимической номенклатуре различных русских областей, совершенно правильно заявляет, что там, «где финны уходили сами без открытой борьбы (с русскими), уходили вследствие разных неприятностей, связанных с близким соседством русских, там большой процент селений носит финские местные имена». А это что значит? Это означает, что в русской лексике различных русских областей много топонимических названий заимствовано из финских языков, что следовательно в свою очередь означает, что русский словарь обогатился «большим процентом» финских слов. У нас нет возможности за недостатком места давать длинные перечни топонимических названий хотя бы по одной б. Олонецкой губ., районов хотя бы Во̀длозера, Пудожа и др. Как же терминовать в таком случае это культурное явление в русской лексике — как «участие» финнов в обогащении этой лексики или как «неучастие»? Кроме того, профессор Зеленин по неведомым основаниям обходит молчанием вопрос о названиях рек, среди которых, как издавна установлено, немало и финских и по преимуществу очень древних.

После этого становится совсем непонятным заявление автора на той же 107 стр. что «ни великорусская диалектология, ни великорусская этнография

[1] Веске М. П. Славяно-финские культурные отношения по данным языка. 1890 г.

не находят в общевеликорусском говоре и быте сколько-нибудь значительных финских элементов». Непонятно и потому, что речь идет об общевеликорусском говоре и потому, что неясно, как случилось, что новый словарный материал в русском языке хотя бы и топонимический) нисколько не отразился на русской диалектологии.

То же самое можно сказать и о быте. Проф. З е л е н и н отмечает, что «бытовая этнография установила, что в великорусской одежде преобладают греческие элементы, а не финские» (стр. 107). Предположим, что это и так, но позволительно спросить, в какой «великорусской» одежде — в северно ли русском сарафанном комплексе или южно-русском поневном? В каком сарафане эти греческие элементы — в косоклинном ли — ферязи или круглом сарафане? Если греческие элементы находятся в южно-русском комплексе одежды, то то же самое можно спросить применительно, положим, к поневе, или кичке, или рубахе -- безразлично. Все это говорит о том, что ни методологически, ни по существу этнограф не имеет права говорить о «великорусской одежде», как о чем-то едином и неделимом. Конечно, Д. К. З е л е н и н знает об этом лучше, чем кто бы то ни было. По отношению же к одежде нужно сказать, что не с меньшим правом можно говорить, и исследователи говорят, о греческих элементах в одежде финской, и еще вопрос — через какое посредство проникли эти элементы к русским? Во всяком случае сравнительная архаика этих элементов, например, в мордовском костюме, ставит вопрос о возможности опосредственного влияния на русских через финнов.

Опрометчиво также, даже условно, говорить и о «русском типе» жилища, усвоенного по мнению Д. К., финнами от русских. Казалось бы, что трудно говорить даже о едином северно- или южно-русском типе жилища. Положим ли мы в основу типологизации план жилища, ориентировку плана, способы рубки, покрытие или архитектурные детали — безразлично, все-таки о «русском типе» жилища говорить не приходится. Подтверждением этого являются соответствующие места работы самого автора.

Лишь в том случае, если мы будем говорить о следах культурных взаимоотношений русских и финнов определенной географической зоны, а не об участии в «образовании великорусской народности» эти следы мы найдем не в единичных примерах.

Если мы будем, например, изучать ныне русское население Балашевского уезда, Саратовской губернии в районе с. Б.-Карая или Дальне-Константиновскую и Борисо-Покровскую волость Нижегородского уезда Нижегородской губернии, то, наведя некоторые этнографические справки, мы убедимся, что весь комплекс быта ныне русских сел доселе хранит здесь крупные следы мордовской культуры и в области материальной и в обрядовой действительности, и в фольклоре, и в диалекте и т. д. и т. д. [1] Проф. З е л е н и н будет говорить, что мы имеем здесь следы позднего обрусения мордвы, но это лишний раз подчеркивает методологическую значимость по-

добного рода примеров. Лишь при условии допущения подобного рода взаимовоздействия народов нас перестанет интересовать вопрос — было ли финнов (или русских) 50 миллионов или меньше, рано или поздно начался процесс взаимоассимиляции финнов и русских. Совершенно очевидно, что данный процесс в данных условиях сожительства русских и финнов перманентен, так же, как перманентна и всякая реальная этническая культура. Варьируются и меняются лишь формы культурных взаимоотношений, ибо меняются формы общественные.

Для этнографа в этом смысле будет маловажным установить, мирный или военный характер носила русская колонизация финских земель, так же как неважным является и констатирование — хорошие или плохие места доставались финнам в столкновениях с русскими. Важен будет лишь конечный результат, в данном случае то, что колонизация происходила и что столкновение культур было.

Наоборот, если уже пользоваться историческими данными, то недостаточно констатировать только факт, например, наличия борьбы финнов и русских, как это делает автор. Здесь совершенно необходимо следует учесть исторически конкретные условия, обстановку и результаты этой борьбы. Д. К. З е л е н и н, например, ссылаясь на исторические данные, почти погодно констатирует все указания летописей о борьбе финнов и русских, а упускает из виду очень важный для историка факт, неоднократно упоминающийся в летописях о методах этой борьбы. Русские, как известно, почти всегда у побежденных финских племен: «жен и детей в полон браша». Это указание важно уже не только для этнографии, но и для антропологии и лингвистики. Оно означает, что пленники непосредственно не только культурно, но и физически входили в русскую жизнь, формируя и как-то видоизменяя ее. Этнограф, антрополог и лингвист и должны найти пути аналитического разложения этой жизни в ее беспрерывном генезисе.

Именно конкретная действительность и наличие «более 17 финских племен», поныне входящих в состав нашего Союза, за жизнедеятельность которых серьезно ратует в своей статье Д. К. З е л е н и н, и ставит в конечном итоге перед исследователем-финнологом и руссологом одну общую задачу — раскрытия путей, по которым шло накопление культурных ценностей и русских и финнов.

Категорический ответ — «да или нет» в поставленной автором проблеме не раскроет нам компонентов ни финской, ни русской культуры вообще. Лишь внимательный анализ каждого культурного явления в отдельности без патриотического «кто — у кого» в состоянии пролить свет на истинный генезис этого явления, на способы возникновения культурных ценностей и, наконец, на степень проявления творческих усилий отдельных соседствующих народов в создании той или иной культуры современности.